



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Из старой записной книжки

Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя слов своих к России: «честному человеку не должно подвергать себя виселице». Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры в Провидение; но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры. Или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля¹, Шарлоту Корде² и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть.

<...>

Сам Карамзин сказал же в 1797 году:

Тацит³ велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению...⁴ Был ли же Карамзин преступен, обнаруживая свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме⁵, приведенной выше?

О письмах Карамзина

Ко дню столетней годовщины рождения Карамзина вышли в свет, совершенно кстати, записки Дмитриева и письма к нему

Карамзина*. Нельзя не приветствовать с живейшею радостью одновременное появление этих двух замечательных книг. Это светлое событие в русском литературном мире. Здесь и новость и старина; и новость тем свежее, что она не взята из современного движения. От этих двух книг веет на нас и благоухает ясною и бесстрастною жизнью минувшего. На них мысль и чувства могут отдохнуть. На них не запечатлены заботы, предубеждения, борьба, страсти, недомолвки и противоречия настоящего. Каждый, кто только одарен чувством любви к нравственно-прекрасному по внутреннему достоинству его и по внешней прелести, то есть по духу и образу, может свободно приступить к сему явлению и оценить его беспристрастно. Тут нет ни повода, ни предлога к торжеству или к унижению личного самолюбия. Тут слышится загробный голос из другого мира, но мира всем нам родственного: если не все, если весьма немногие из нынешних современников в нем жили, то все сознательно или бессознательно из него исходят. В жизни народов, как ни различны бывают стремления и судьбы поколений, одного за другим следующих, есть, однако же, Промыслом предназначенная нравственная последовательность, которая их связывает взаимно ответственностью и родным сочувствием. История, то есть жизнь народа, не образуется из отдельных явлений и случаев; она не отрывочные и летучие листы, не частные указания и узаконения. Нет, она полный, нераздельный быт, полный свод законов. С ним должны справляться, им должны дорожить все те, которые хотят знать настоящее не только поверхностно, но добросовестно и сознательно, то есть в связи его с минувшим. Так оно в гражданском, так и в литературном порядке.

Эти две книги служат пополнением одна другой, как и личности Дмитриева и Карамзина пополняют друг друга. Литературные труды того и другого, как ни различны свойства их, имели деятельное и глубокое влияние на развитие нашего языка;⁶ почти одновременно вступили они на поприще словесности и долго пользовались нераздельною, как будто братскою славою: трогательная, неизменная, можно бы сказать беспримерная, дружба сблизила и сроднила их⁷.

Все это связывает нераздельно эти два лица в памяти и уважении России. Вместе прошли они, рука в руку, душа в душу, честное поприще деятельной жизни; и ныне из гроба нераздель-

* Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М., 1866; Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

но встают они и являются вместе, как братья на празднестве, которое признательное потомство совершает в честь одному из них. На деле выходит в память обоих. Юбилейная наша тризна была бы не полна, если не примкнул бы к ней и Дмитриев. Когда получено было в Петербурге известие о кончине его⁸, помню, что я писал к кому-то в Москву: со смертью Дмитриева мы как будто во второй раз теряем и погребаем Карамзина. Пока был он жив, и образ друга его был нам еще присущен. Со смертью Дмитриева и предания о Карамзине пресекались. Мы все, более или менее приближенные к нему, знали его, так сказать, по частям, то в одно время, то в другое. Дмитриев один знал его от детства до смерти; знал и его, и жизнь его вполне. Мы могли бы представить одни разбросанные черты из его жизни; один Дмитриев мог бы быть его полным биографом. Но и эти отдельные черты, отрывчатые отголоски почти не сохранились: чувства и любовь остаются верными, но память изменяет.

По хронологическому порядку начнем с писем Карамзина. В них старший памятник и жизни его, и литературного нашего преобразования. Первое письмо его, без означения года, должно быть зачислено 1787 годом. Укажем первоначально на язык и слог, их отличающий. Это уже не язык Ломоносова, Сумарокова, даже не язык Фон-Визина, которого письма также нам известны. Здесь уже слышится что-то другое, новое, еще неправильно образованное, но уже пытающееся идти своим шагом и проложить себе свою дорогу; есть уже самобытность, хотя еще не окрепшая. Любопытно и поучительно, перечитывая ныне эти письма, следить за ходом успехов писателя. Язык и слог его, а слог есть характер, есть нравственная личность писателя, совершенствовались с каждым годом. Можно подмечать из писем, как подрастает русский путешественник, творец «Марфы Посадницы» и «Похвального слова Екатерине». Можно наконец угадывать, до чего вырастет историк государства Российского⁹.

По мне, в предметах чтения нет ничего более занимательного, более умильного, чтения писем, сохранившихся после людей, имеющих право на уважение и сочувствие наше. Самые полные, самые искренние записки не имеют в себе того выражения истинной жизни, какими дышат и трепещут письма, написанные беглою, часто торопливою и рассеянною, но всегда по крайней мере на ту минуту проговаривающейся рукою. Записки, то есть мемуары, сказал бы я, если не страшился бы провиниться иноязычием в стенах святилища русского слова и русской науки, а еще более провиниться подражанием пестроты

новейшего словосочинения, записки все-таки не что иное, как обдуманное воссоздание жизни. Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее. Как семейный и домашний быт древнего мира, внезапно остывший в лаве, отыскивается целиком под развалинами Помпеи, так и здесь жизнь нетронутая и нетленная, так сказать, еще теплится в остывших чернилах. Но при этой сладости и свежести впечатления есть и глубокая грусть, которая освящает это впечатление и тем придает ему невыразимую прелесть. Тут пред вами жизнь, но вместе с нею и осязательное свидетельство ее безнадежности, ее несостоятельности. Все эти заботы, радости, скорби, эти мимоходные исповеди, надежды, сожаления; все эти едва уловимые оттенки, которые в свое время имели такую полную действительность; все это и самые лица, запечатлевшие их, за скрепою руки и души своей, — все это давно увлечено потоком времени, все это сдано в архив давно минувших дел или вовсе предано забвению и в жертву настоящему.

Письма Карамзина вообще возбуждают в нас эту грустную и пленительную прелесть. Они обыкновенно кратки; редко, и то в последние только годы, касаются мимоходом событий дня, которые позднее переходят в собственность истории; в них нет систематически заданных себе и разрешаемых вопросов по части литературы, политики и философии, но есть личные воззрения или чувства то по одному, то по другому предмету. В них специально ничему не научишься; но вместе с тем научишься всему, что облагораживает ум и возвышает душу. Личность и задушевность выглядывают почти из каждого письма. Письма его еще более, нежели записки Дмитриева, могут быть признаны личною исповедью писателя, конечно не полною, не подробною; но часто по одному полуслову, брошенному как бы случайно, по одному звуку души, неожиданно раздающемуся и часто вызванному без видимой причины, проникаешь в глубь этой светлой и спокойной внутренней святости. Дмитриев называл записки свои «Взгляд на мою жизнь», а мы хотели бы иметь полное созерцание ее. К сожалению, на письме он никогда не только не проговаривается, но редко и договаривает. Конечно, и в недосказанном сказано много. Слова его не обильны, но полновесны. Как в разговоре, так и в письмах Карамзина отзывалась всегда увлекательная, теплая, задушевная речь. Философия и поэтическая живость его истекали из одного свежего, светлого и глубокого источника, а источник сей был душа, исполненная любви к братьям и неувядаемой молодости впечатлений, восприимчивости и чувства.

Можно сказать по совести и по убеждению, что едва ли был где-нибудь и когда-нибудь человек его благосклоннее и благодушнее. В знаниях, в полноте и блеске умственной деятельности имел он совместников и соперников, мог и должен был иметь и победителей. Но по душе чистой и благолюбивой был он, без сомнения, одним из достойнейших представителей человечества, если, к сожалению, не того, как оно вообще в действительности, то человечества, каким оно должно быть по призванию Провидения.

В других творениях его высшее место занимает писатель, в письмах высшее место принадлежит человеку. Вообще о дарованиях писателей, о степени превосходства и заслуг, оказанных ими делу мысли и слова, может еще быть некоторое разногласие вследствие личных воззрений, понятий, а часто и предубеждений читателя. Вопреки известной поговорке скажем, что о вкусах спорить не только можно, но иногда и должно. Есть вкус изящный, есть и худой вкус; есть верный, есть и ложный; есть здравый вкус, есть и испорченный. Но о нравственном достоинстве человека спора быть не может. В письмах своих Карамзин, как в чистом и верном зеркале, изображается во всей своей ясности. Здесь не знавшие его лично могут ознакомиться с ним, а ознакомившись, не могут отказать ему в сочувствии, в любви и в глубоком уважении¹⁰.

